

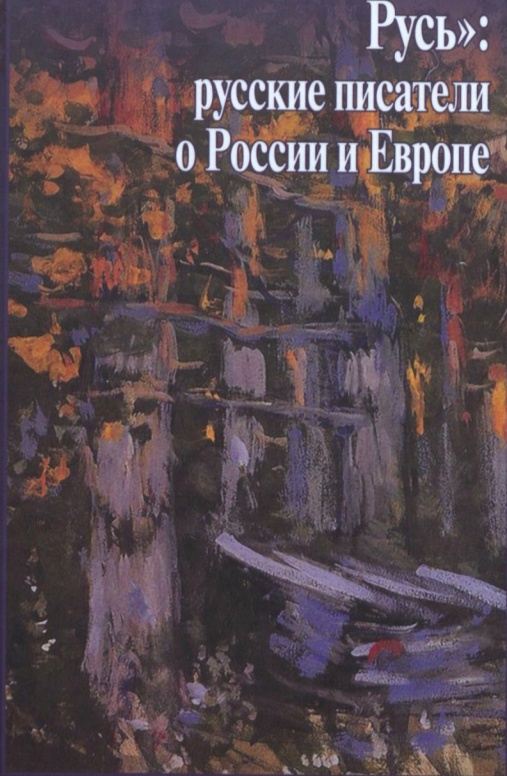
83.3(2=411.2)5-8

M60

CA-405981

Humanita

Валерий Мильдон
«И в тайне почивает
Русь»:
русские писатели
о России и Европе



Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Валерий Мильдон

**«И в тайне почивает Русь»:
русские писатели о России и Европе**

СА - 405981

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»



Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2023

Предисловие

Статьи этого сборника появлялись в разные годы в течение почти тридцати лет. Для истории — срок даже не микроскопический, для человека — едва ли не половина жизни, а то и больше, если иметь в виду ее сознательную пору. За это время и в отечестве нашем и в мире произошло столько перемен, что их нельзя было и вообразить тогда. И все же есть нечто устойчивое, не затронутое переменами, и потому суждения русских писателей о России и Европе — предмет двенадцати статей — могут представлять интерес и сегодня.

Содержание

Предисловие	5
Чаадаев и Гоголь	6
Русские люди. О смысле «Обломова»	31
Тургенев и Ницше: образы нигилизма	41
Тютчев о России и славянстве	61
Раскольников и Мышкин. К художественной идеологии Достоевского	70
От Раскольникова к Смердякову. Два закона философской антропологии Ф. Достоевского	84
Достоевский о Европе	94
Провидческие мотивы в творчестве А. П. Чехова	111
Уроки П. А. Кропоткина	130
Об отношении русского просвещения к западному (наследие славянофилов в современной России)	145
Лейбниц и Достоевский: теодицея и эсхатология	160
Об одной историософской утопии	168
Указатель имен. Составитель И. И. Ремезова	191

Чаадаев и Гоголь

Творчество каждого из писателей приходится на последекабристскую пору, апогей абсолютистской России. Образы, о которых пойдет речь, в значительной степени результат одинаковой реакции двух ни в чем остальном не похожих писателей на эти исторические условия. Разумеется, не только. Но, хотели того или нет сами авторы, реальность «поворачивала» их глаза, и они видели не то, что хотелось бы каждому, а то, что было, оказавшись нечаянными реалистами. Реализм этот обнаружился в образах, неожиданно совпавших у Чаадаева и Гоголя, хотя, казалось бы, что же неожиданного, коль скоро оба — современники едва ли не самой мрачной эпохи русской дореволюционной жизни.

Всякая мысль метафорична и вмещает не только то, что хотел автор, но долю неумышленного содержания. Мыслитель, как бы ни желал достичь адекватного слова, всегда находится под властью образных понятий, им не контролируемых, безотчетных, «думающих» словно помимо его воли.

Избранные писатели совпадают этим нечаянным для каждого результатом. У Гоголя он — следствие художественной мысли, каковая, будучи переведенной на язык понятий, всегда отрицалась ее создателем. Чаадаев, писавший в жанре чистых понятий, пользовался образным языком, который обнаруживал содержание, противоречащее логике этих понятий.

Цель нижеследующего состоит в том, чтобы понять смысл, не однородный намерениям самих писателей.

Мысль Чаадаева, взятая без внимания к ее образному изложению, заметно меняется: в Первом философическом письме (1829) Россия представлена недвижно-косной, а ее спасение — в прививках западной культуры. В нескольких же письмах середины 30-х годов; в «Апологии сумасшедшего» косность и неподвижность служат гарантиями грядущего блага: Россия призвана спасти Европу и ответить на ее вопросы, ибо сама она не Европа.

Собственную методологию Чаадаев обосновал во Втором письме: «...Не только некое провидение, или некий совершенно мудрый раз-

ум руководит ходом явлений, но... он оказывает прямое и непрерывное действие на дух человека» (2, с. 126–127)¹.

«...Ничто не расширяет нашу мысль и не очищает нашу душу в большей степени, нежели... созерцание божественной воли... ведущей человеческий род к его конечным целям» (2, с. 128). Провиденциализм в отношении к всемирной истории — важная черта чаадаевской методологии, недвижная априория, на которой держится его мысль. Не беря в расчет этой базы, нельзя понять убежденности и колебаний автора, его идей и противоречий, хотя здесь писатель и неоригинален: идея «царства» в качестве исторического финала — старая, с богатой традицией от Августина до Гегеля. Оригинальность Чаадаева как раз в том, что, против его намерений, разногласило с упомянутой идеологией. Вопреки его «диалектическому провиденциализму» образное изложение давало «статический провиденциализм», похоже, не замеченный автором как не соответствующий его осознанному мыслительству. Зато «статика» позволяла пророчествовать «вперед» и «назад», догадываясь о былом и грядущем по теперешнему.

Если «царство божье»; если совершенномудрый разум простер попечение на весь исторический ход, то нужны ведь и следы — не для чужих глаз, а своему сознанию, для укрепления собственной веры в будущее счастье.

«...в христианском мире все необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа...» (2, с. 119).

Для «действительно способствует» и понадобилась философия истории: если человечество не будет счастливо, не оправдаются священные слова; тогда существование господа вопросительно, и царство его не так уж непременно, и мир брошен произволу стихий. Нельзя отрицать влияния на Чаадаева тогдашней католической мысли (де Местра, Бональда, а позже, вероятно, и Ламенне). Тем более П. Милюков отыскал текстуальные совпадения Чаадаева и Бональда². Однако из этого не следует, будто мысль русского философа определена. Помимо ее логического, контролируемого содержания, в ней, как во всякой мысли, действует образная логика, и метафоры, которыми пользовался Чаадаев, составляют картину, в многом противоположную той, что нарисована его чистою логикой.

Поскольку божественная воля ведет человечество к осуществлению благодетельных целей (2, с. 128), в истории должны быть подтверждения. О них — Второе письмо. Самый факт появления христианства в истории подтверждает наличие божественного плана, согласно которому человечество движется к полному счастью и пре-

Русские люди. О смысле «Обломова»

Подзаголовок статьи не располагает в пользу автора: роман Гончарова читают свыше полутора столетий, и вдруг находится критик, словно упрекающий всех в том, что за это время так и не разглядели содержания. Но разве не в том значении художественных образов, чтобы провоцировать именно чтение «вдруг», якобы помимо сложившейся традиции, хотя как раз благодаря ей возможны внезапные прочтения. В конце концов, традиция осознается таковой лишь вследствие ее нарушений, тоже, впрочем, традиционных.

1

Начинается роман в «Гороховой улице, в одном из больших домов...», а заканчивается женитьбой героя на женщине по фамилии Пшеницына. Бытие Обломова вставлено в раму вегетативных ассоциаций, как будто намекающих на то, что эта человеческая жизнь по существу своему растительна.

«Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материей, красивые ширмы с вышитыми небывальми в природе птицами».

«...Можно было бы подумать, что тут никто не живет...»

Не потому ли и не живет никто, что истинное место человека не здесь, а там, где эти невиданные птицы, в раю? Но птицы вышиты, рай ненатурален, а «...из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха».

Персонажи гончаровского романа не повелители, а разновидности этого мира. «В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно

Тургенев и Ницше: образы нигилизма

Возможно, первое упоминание двух имен рядом относится к марту 1872 г. В «Хронике жизни Ницше» приведено свидетельство: «К. фон Герсдорф записывает под диктовку Ницше... Совместное чтение: среди прочих книг “Отцы и дети” Тургенева» [Ницше, 1990, т. 2, с. 818].

Затем русского и немецкого писателей соединил М. Хайдеггер: «Первое философское применение слова “нигилизм” идет, по-видимому, от Ф.Г.Р. Якоби <...> Слово “нигилизм” вошло позднее в оборот через Тургенева как обозначение того воззрения, что действительно существует только сущее, доступное чувственному восприятию, т.е. собственному опыту, и кроме него нет ничего. <...>

Для Ницше, однако, значение слова “нигилизм” существенно “шире”. Ницше говорит о “европейском нигилизме” [Хайдеггер, 1993, с. 63].

В этом сопоставлении мне увиделось содержание, объясняющее некоторые стороны не столько Базарова — о нем отечественная критика писала много, — сколько тех слоев нашей умственной жизни, которые сохраняют значение и поныне, и тема «Тургенев — Ницше» оказывается проводником в наше теперешнее духовное бытие.

Небольшое исследование В.П. Зубова «К истории слова “нигилизм”», 1929, дополняет терминологические разыскания М. Хайдеггера, хотя по времени справедлива обратная зависимость, ибо русский текст почти сорока годами старше немецкого.

Статья, пишет автор, совпала со столетием «введения термина “нигилизм” в русскую литературу. <...> “2 января 1829 г. ...на Патриарших прудах” Никодим Надоумко (Надеждин) заговорил о “фантазмагории чудовищного нигилизма”. Статья была написана по поводу разбора байроновского “Манфреда” в “Московском Телеграфе”...» [Зубов, 1996, с. 48—49].

Попутно замечу: едва ли не сто лет спустя, там же, на Патриарших прудах, произошел еще один разговор с «нигилистической» подклад-

Тютчев о России и славянстве

В эстетике распространен взгляд: поэт говорит больше, нежели хочет, и чем крупнее дарование, тем это «больше» больше, поэтому спустя много лет его стихи находят отклик и подтверждают старое наблюдение: время не властно над поэтом.

Так я смотрю на стихи Тютчева о России и славянстве, правда, у него есть и проза на эту тему, с нее начну.

Он был не только европейски образованным человеком, но — что отнюдь не всегда сопутствует широкому образованию — интересовался текущей историей и вникал в жгучие политические проблемы. Свидетельством тому незаконченный трактат «Россия и Запад» и статьи. В одной из них, «Россия и Германия» (1844), он писал, что борьба германских и французских начал в Европе изменилась с тех пор, как в Европе появилась третья сила — Россия¹.

Замечу гипотетически: очень важная в мировоззрении В.С. Соловьева идея России как «третьей силы» всемирной истории могла появиться под влиянием соображений Тютчева. Во всяком случае, у обоих мыслителей она имеет отношение к судьбам славянства.

Почему, спрашивает Тютчев, Россия вмешалась в спор Германии и Франции? «Она хотела раз и навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным движением <...>, потому что право, историческая законность — это ее собственное призвание, назначение ее будущности...» (РЗ, 264).

Есть еще сочинение, где Тютчев с такой же определенностью говорит о России (и косвенно — о славянстве) — упомянутый трактат «Россия и Запад», в котором исходными для историософских суждений поэта являются европейские революции 1848—1849 годов.

«Февральское движение [во Франции 1848 г. — В. М.], логически рассуждая, должно было бы привести к крестовому походу всего революционизированного Запада против России... И тем, что это не имело места, доказывается отсутствие у Революции необходимой жизненной силы»². «Это не только бессилие Революции, но и бессилие Запада <...> Теперь он находится в состоянии глубокого распада»³.

Провидческие мотивы в творчестве А. П. Чехова¹

На смерть Чехова А. Белый откликнулся небольшой статьей, где есть слова: «Чехов не объяснял: смотрел и видел»².

Фактически повторено признание самого Чехова из письма А. С. Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов, идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. <...> Конечно, было бы приятно сочетать искусство с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я всё время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся...»³.

Прежде всего изображать, а не становиться на чью-либо сторону. Мало найдется среди русских классиков тех, кто, подобно Чехову, взял бы эту формулу правилом. В этом отношении он — уникальная фигура русской литературы — не проповедник, не моралист, но художник. Можно приблизиться к нему в изобразительной объективности, сравняться, — трудно превзойти.

Этот существенный признак его необыкновенного дара отмечали все чуткие критики. «...Чехов более, чем какой-нибудь другой русский писатель, показывает мне и вас, и меня, — а себя открывает.. лишь в той мере, в какой каждый из нас может проверить его личным опытом»⁴. «Чехов чувствовал за нас, и это мы грезили, или каялись, или величались в словах Чехова. А почему мы-то такие, не Чехову же и отвечать...»⁵

Он и не отвечал, причины — не его дело, они всего-навсего часть реальности, тогда как художник занят ею целиком.

Если всё же подыскать Чехову аналогию в нашей словесности, идет на ум Пушкин. С ним Чехова сближает *радость творчества* — нечастый, наряду с объективностью художественной, признак русской литературы. Скорби, негодования, протеста, сострадания — предостаточно, мало радости. Еще бы, ее испытываешь от непреднамеренно

Уроки П.А. Кропоткина

Имя Петра Алексеевича Кропоткина (1842—1921) настолько известно и у нас и по всему миру, что эта известность — сама по себе достаточный повод вспомнить выдающегося человека, тем более многое в его умственном наследии сохранило какую-то обжигающую актуальность, и не только для нас, хотя для нас в первую очередь. Я имею в виду его социальную и политическую мысль.

Едва ли не до сих пор в массовой неосознаваемой памяти образ Кропоткина ассоциируется с матросом-анархистом, сквозь зубы, стиснувшие папиросу, напевающим «цыпленок жареный». И хотя для участия в похоронах Кропоткина большевистская власть отпустила из тюрем анархистов под их честное слово (они его сдержали и вернулись в камеры), все же их настроения и взгляды Кропоткина не одно и то же.

В предисловии 1902 г. к первому русскому изданию «Записок революционера» (1899) он писал: «...Идеал центральных *опять* ожил среди нас. *Опять* он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России; *опять* он стоит на пути развития местной жизни и местной самостоятельности»¹.

Эти слова оставляют впечатление произнесенных сегодня, и если такое мнение справедливо, спрашивается: что же происходило и происходит в стране, коль скоро суждения столетней давности все еще кстати?

«Записки революционера» — одна из тех редких автобиографий, читая которые, невольно отождествляешь себя с автором. Даже сейчас, когда люди избалованы книжными и экранными версиями всевозможных приключений, эта книга читается едва ли не с замиранием духа — так много невероятного в жизни мемуариста. Чего стоят его путешествия по Маньчжурии и разговоры с мелкими китайскими чиновниками или побег из Петропавловской крепости, хотя похожих эпизодов десятки.

Не будучи по своим профессиональным занятиям беллетристом, Кропоткин создал художественное произведение, хотя такой цели, разумеется, не ставил. Следовательно, перед нами стихийная одаренность, умение, доставшееся его обладателю от рождения.

Таких умений у Кропоткина было столько (правда, большую их часть он шлифовал в неустанных трудах), что хватало бы коллективу специалистов: писатель, философ, публицист, историк, ученый (социолог, естествоиспытатель, географ, гляциолог). И все это естественно, без натуги, с несомненным интересом и удовольствием к перечисленным занятиям. Одно это делает его фигуру привлекательной для самого широкого читателя.

Ф. Шиллер некогда заметил: всякий художник — сын своего времени, но горе тому, кто в нем остается.

Это верно и для мыслителя. В самом деле, кому сейчас, кроме историков, интересно читать о проблемах, давным-давно решенных? Например, беспокоивший западноевропейских экономистов конца XVIII — начала XIX в. вопрос о том, следует ли сохранить деньги в качестве эквивалентного средства обмена или их лучше изъять из обращения в интересах народной нравственности и государственного хозяйства, — ныне этот вопрос решен, и его не обсуждают.

Совсем не то идеи Кропоткина. Его сочинения «Хлеб и воля», 1892, «Анархия, ее философия, идеал», 1896, «Поля, фабрики и мастерские», 1899, подготовили, можно предположить, его главный теоретический труд, шедевр, исходя из первоначальной этимологии, — «Взаимная помощь как фактор эволюции», 1902. Именно эта книга позволяет понять зарождение и развитие в авторе мысли об анархизме как безгосударственном социализме.

Одна из ярчайших черт личности Кропоткина состояла в том, что он не был рабом идеи. Его интерес к любому понятию возникал чаще всего в результате практической работы, будь то этнография амурских казаков, орография Восточной Сибири или рабочее движение Западной Европы. Мысль Кропоткина всегда обобщала его жизненный опыт, вследствие многостороннего обдумывания выходящий за границы личной практики и получавший общее (научное) значение.

Раздумывая над такими значениями, Кропоткин формулировал законы, позволявшие предсказывать еще не известные факты и проникать в области, не доступные личному опыту. К примеру, изучая движение льдов Баренцева моря, он высказал предположение о том, что севернее Новой Земли должна существовать какая-то суша, и спустя два года австрийские исследователи подтвердили его гипотезу, открыв землю, названную именем Франца-Иосифа.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49**